

МАТИЛЬДА КШЕСИНСКАЯ ГЛОРИЯ ГОЛД



Глория Голд
Матильда Кшесинская

«Автор»

2026

Голд Г.

Матильда Кшесинская / Г. Голд — «Автор», 2026

Она родилась в семье польского танцовщика, а стала светлейшей княгиней. Ей рукоплескал император, её боготворили великие князья, её имя стало символом уходящей эпохи. Матильда Кшесинская прима-балерина Императорских театров, фаворитка последнего русского царя, женщина, пережившая крушение империи, революцию и изгнание. Эта книга не просто биография. Это роман о любви, которая сильнее смерти, о славе, которая не проходит, и о родине, которую нельзя забыть. От блеска Мариинского театра до парижской эмиграции, от царских лож до тесной балетной студии. Это история женщины, прожившей почти сто лет и ни разу не сбившейся с такта. Автор позволил себе некоторые вольности, искушённые читатели, несомненно, догадаются, где именно.

© Голд Г., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава первая. Запах канифоли	7
Глава вторая. Царский ужин	10
Глава третья. Красное Село	14
Глава четвёртая. Английский проспект	18
Глава пятая. Письма	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Глория Голд Матильда Кшесинская

Пролог

Париж, 1969 год. В квартире на улице Леклерк раздался телефонный звонок.

Аппарат – старомодный, чёрный, с тяжёлой наборной трубкой – стоял на низком столике у окна, за которым моросил мелкий ноябрьский дождь. В этой комнате всё дышало иным временем: пожелтевшие афиши Мариинского театра в тонких багетных рамах, фотография великого князя Андрея Владимировича с дарственной надписью, фарфоровая статуэтка балерины в костюме Эсмеральды и, конечно, запах – смесь старой бумаги, лаванды и едва уловимого аромата тех самых духов, что когда-то выписывали из Парижа в Петербург.

Трубку сняла сухонькая старушка с безупречной осанкой. Движения её были скупы, но точны – сказывалась школа Императорского театрального училища, где девочек учили не просто ходить, а парить. Ей шёл девяносто седьмой год, но взгляд из-под аккуратно подведённых бровей оставался ясным и цепким. Матильда Феликсовна Кшесинская – в эмиграции светлейшая княгиня Романовская-Красинская – не любила, когда её отвлекали от чтения или пасьянса. Но телефон звонил настойчиво, и она сняла трубку с тем особым достоинством, с каким когда-то выходила на поклон перед царской ложей.

В трубке, потрескивая помехами трансатлантического кабеля, звучал молодой, самоуверенный голос. Американский журналист – очередной охотник за сенсациями, из тех, что в последние годы всё чаще тревожили покой старых эмигрантов, выискивая в их судьбах «пикантные подробности» и «тёмные тайны дома Романовых». Ему, разумеется, нужна была не история балета, не рассказ о тридцати двух фуэте, впервые исполненных русской танцовщицей, не воспоминания о Чайковском, который лично сопровождал её на репетициях.

Ему нужен был Ники.

– Мадам Кшесинская, – голос в трубке был настойчив и фальшиво-почтителен, – весь мир знает вас как последнюю живую свидетельницу интимной жизни последнего русского императора. Не могли бы вы рассказать нашим читателям, какова была ваша истинная роль в судьбе Николая Второго? Повлияли ли вы на его решения? Чувствуете ли вы свою долю ответственности за трагедию, постигшую Россию?

В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь шипением эфира да стуком дождевых капель по стеклу.

Матильда Феликсовна чуть отстранила трубку от уха. Её взгляд скользнул по книжным полкам, по стопке старых партитур с пометками Мариуса Петипа, по бронзовому бюсту отца – Феликса Кшесинского, танцовщика, который привёз её, маленькую полячку, в холодный и блистательный Петербург. На мгновение ей показалось, что не было ни этой квартиры, ни Парижа, ни долгих лет изгнания. Что за окном не парижская мостовая, а заснеженная Театральная улица, освещённая газовыми фонарями. И оттуда, сквозь шум дождя и толщу десятилетий, доносится цокот копыт императорского выезда, спешащего к служебному подъезду Мариинки. И юный Ники – ещё не государь, не мученик, не исторический персонаж, а просто застенчивый гусарский офицер с доброй, растерянной улыбкой – стряхивает снег с шинели и шепчет: «Маля, я на минуточку, только тебя увидеть...»

Она поправила нитку жемчуга на шее. Того самого, что уцелел после всех бегств, обысков и продаж.

– Молодой человек, – произнесла она наконец. Голос её звучал ровно, но в нём слышался тот самый грассирующий, старопетербургский акцент, который уже почти исчез с лица

земли. Она говорила по-французски, но с достоинством русской барыни. – Я прожила долгую жизнь. Я танцевала перед тремя императорами. Я знала величайших людей своего века. Но вы, кажется, хотите услышать от меня нечто иное. Вы хотите, чтобы я покаялась в грехах, которых не совершала, или поведала вам тайны, которых не было.

Журналист попытался что-то возразить, но она не дала ему такой возможности.

– Послушайте меня внимательно. Вся мою жизнь мне приписывали влияние, которого у меня никогда не было. Меня называли фавориткой, интриганкой, чуть ли не серым кардиналом империи. Вздор. Я была балериной. Я служила Красоте и поверьте, молодой человек, управлять тридцатью двумя фуэте на пяточке сцены под взглядом взыскательной публики куда сложнее, чем управлять министрами. Что же касается России и её трагедии... Знаете, какой сон преследует меня до сих пор? Не февральская выюга семнадцатого года, когда я бежала из собственного дома с собачкой под мышкой. Не пароход «Семирамида», увозивший нас в вечную тьму изгнания. Мне снится сцена Мариинского театра. Оркестр играет вступление к «Спящей красавице», я выхожу на свой выход и вдруг понимаю, что забыла первое па-де-бурре. Полная пустота. Ужас ледяной рукой сжимает сердце. Вот что по-настоящему важно. Вот чего я боялась больше, чем расстрела или голодной смерти.

Она замолчала. Американский журналист, кажется, тоже молчал, сбитый с толку этим странным ответом. Он ждал слёз, признаний, скандальных откровений старухи, выжившей из ума. А услышал лекцию о профессионализме и сне балерины.

– Передайте вашим читателям, – добавила Матильда Феликсовна уже мягче, – что я не жалею ни об одном мгновении своей жизни. Я любила, танцевала и родила сына. Я пережила империю, которая меня взрастила. Всё остальное – лишь декорации. И знаете... – она снова взглянула на фотографию в серебряной рамке, на которой юный цесаревич смотрел куда-то мимо объектива, словно в вечность, – я благодарна судьбе за тот мартовский вечер 1890 года, когда Государь Александр Третий усадил меня рядом с Ники за ужином. Это была светлая, юная, ничем не замутнённая страница. И я не позволю никому ворошить её грязными руками.

Она аккуратно, без стука, положила трубку на рычаг, разговор был окончен.

Мадам Кшесинская подошла к окну. За мокрым стеклом смутно угадывались очертания парижских крыш. Но она смотрела сквозь них – туда, где в морозной дымке вставал над Невой золотой шпиль Адмиралтейства, где на Кронверкском проспекте стоял её особняк с зимним садом, и где маленькая девочка Маля, дочь танцовщика Феликса, впервые вышла на сцену, чтобы навсегда остаться в истории.

Той России больше не было на картах. Но она продолжала жить в ней. В её осанке и её молчании. В этом стуке дождевых капель, так похожем на дробь балетных пуантов по пустой сцене.

С этого мартовского вечера, с этого царского ужина, с этой юной и светлой страницы мы и начнём наш рассказ. Но прежде – вернёмся ещё дальше, в мир польских фургонов и бродячих актёров, чтобы понять, откуда берутся женщины, способные станцевать свою партию на сцене рушащейся империи и ни разу не сбиться с такта.

Глава первая. Запах канифоли

Она запомнила этот запах навсегда.

Запах канифоли, смешанный с пылью кулис и едва уловимым ароматом отцовского табака. Запах, который врезался в память раньше, чем первые слова, раньше, чем осознание собственного «я». Она ещё не умела ходить, но уже знала: так пахнет театр. Так пахнет дом.

Её поднесли к отцу, когда он гримировался перед выходом. Маленькая Маля – тогда ещё просто Маля, а не Матильда, не Кшесинская, не будущая прима – потянулась крошечной ручкой к баночке с белилами и опрокинула её на отцовский камзол. Феликс Иванович не рассердился. Он засмеялся, подхватил дочь на руки и сказал, обращаясь не то к жене, не то к самому себе:

– Эта будет танцевать.

Он не ошибся. Впрочем, в их семье ошибиться было трудно. Кшесинские танцевали все – так же, как другие семьи плотничали, торговали или шили сапоги. Это был не выбор, а данность. Фамильная черта, передававшаяся из поколения в поколение вместе с цветом глаз и формой скул.

Юлия Доминская, мать, в молодости сама выходила на сцену, но оставила карьеру после первого замужества. Она родила пятерых детей от танцовщика Леде, овдовела и снова вышла замуж – на этот раз за поляка, за Феликса, который был младше её на несколько лет и который танцевал мазурку так, что у зрителей перехватывало дыхание. От этого второго брака родились ещё четверо. Последней стала Матильда-Мария.

Август 1872 года, дачное Лигово, деревянный дом с мезонином, запах прогретой солнцем сосны и звуки рояля, доносящиеся из открытых окон. Феликс Иванович репетировал дома, не признавая выходных и каникул. Он считал, что тело танцовщика не знает отдыха – только сон и работу, работу и сон.

Маля росла среди всего этого. Она не помнила момента, когда впервые встала на пуанты – слишком рано, года в три, подражая старшей сестре Юлии. Она не помнила, когда выучила первое па – это случилось само собой, как другие дети учатся ходить и говорить. Танец был её родным языком, её способом существования в мире.

Отец часто брал её в театр. Не на спектакли в зрительный зал – туда детей не пускали, – а за кулисы. Он усаживал дочь в маленькую ложу у самой сцены, закутанную в старую шаль, чтобы не продуло, и уходил гримироваться. Маля сидела тихо, как мышка, и смотрела. Перед ней разворачивалось волшебство: обычные люди, которых она знала – дядя Павел, тётя Катя, – превращались в королей и волшебниц, в фей и чудовищ. Декорации, пахнущие клеем и краской, двигались, открывая то сказочный лес, то мраморный дворец. Оркестр настраивал инструменты, и этот хаос звуков казался ей прекраснее любой музыки.

Однажды – ей было тогда лет пять – отец забыл её в театре. Не нарочно, конечно. После дневного спектакля он увлёкся разговором с балетмейстером, потом его позвали в дирекцию, потом подвернулся кто-то ещё – и Феликс Иванович уехал домой один. Спыхватился только к вечеру, когда жена спросила: «А где Маля?»

Он примчался обратно, бледный, с безумными глазами. Обегал все гримёрки, все закоулки – нет нигде. Уже представлял самое страшное. А девочка сидела в той самой ложе, закутавшись в шаль, и спокойно наблюдала, как рабочие сцены меняют декорации к вечернему спектаклю. Она даже не заметила, что прошло несколько часов. Услышав шаги отца, она не обрадовалась, не бросилась навстречу – а, наоборот, забилась поглубже под кресло. Не из страха, а из надежды, что её не найдут и она останется на вечерний спектакль.

Феликс Иванович потом рассказывал эту историю друзьям, и все смеялись. Но сам он, кажется, в тот день понял что-то важное про свою младшую дочь. Что-то, что отличало её от

других детей. Не просто любовь к театру – а полное, абсолютное растворение в нём. Готовность жить этой жизнью и никакой другой.

Когда Мале исполнилось восемь, вопрос о будущем даже не обсуждался. Императорское театральное училище. Лучшая балетная школа империи, а может быть, и всей Европы. Старшая сестра Юлия уже училась там, брат Иосиф – тоже. Маля стала третьей.

Училище располагалось на Театральной улице, в нескольких минутах ходьбы от Мариинского театра. Массивное здание с высокими окнами и длинными, гулко звучащими коридорами. Пахло здесь не так, как за кулисами, – больше воском, щами из столовой и какой-то особенной, казённой сыростью. Воспитанницы носили форменные платья, вставали по звонку, ели по расписанию, молились хором. Всё было строго, почти по-монастырски.

Но Мале тяготило не это, а другое: родители выхлопотали для неё особое разрешение жить дома. Она была слишком мала, слишком домашняя, слишком непривычная к казарменному быту. И пока другие девочки спали в общих дортуарах, Маля каждый вечер возвращалась на Английский проспект, в тёплую, уютную квартиру, где пахло отцовским табаком и маминими пирогами.

С одной стороны – это была привилегия, но с другой стороны она долго чувствовала себя чужой среди воспитанниц. Те жили вместе, дружили, ссорились, делили радости и горести, а она приходила и уходила. Её не дразнили, но и не принимали до конца. Она была «домашней девочкой», «папенькиной дочкой» и это её злило.

Именно тогда, в училище, у неё начал формироваться характер. Упрямый, несгибаемый, почти мужской. Она решила: пусть она и живёт дома, пусть её считают белой вороной, но она всё равно будет лучшей. Она докажет всем и каждому, что место под софитами принадлежит ей по праву.

Педагоги это заметили быстро. Екатерина Вазем, сухая, строгая, с вечно поджатыми губами, выделяла её среди других учениц. Не хвалила, нет, Вазем вообще редко кого хвалила, но задерживала после уроков, поправляла, заставляла повторять снова и снова. Это был знак того, что в девочке видят потенциал.

Христиан Иогансон, старый швед, хранитель традиций французской школы, тоже обратил на неё внимание. Он ставил ей руки – то самое, что отличает настоящую балерину от просто техничной танцовщицы. «Руки должны петь, – говорил он с мягким акцентом. – Зритель смотрит на ноги, а душу понимает через руки. Запомни это, маленькая полька».

Она запомнила.

Годы в училище пролетели быстро. Маля превращалась в Матильду – высокую, стройную, с удивительными глазами, которые одни называли чёрными, другие – тёмно-карими, а третьи – бездонными. У неё появилась та особая осанка, которая выдаёт балерину в любой одежде, в любой толпе. Прямая спина, развёрнутые плечи, высоко поднятая голова. Она больше не была «домашней девочкой». Она становилась артисткой.

В середине 1880-х в Петербург приехала Вирджиния Цукки. Итальянка. Гастролёрша. Ураган.

Русский балет в те годы был величественным, благородным, но несколько холодноватым. Итальянская школа отличалась во всём: больше страсти, темперамента, риска. Цукки не танцевала – она жила на сцене. Она вращалась с такой скоростью, что у зрителей кружилась голова. Она замирала на пальцах и стояла, казалось, вечность, бросая вызов законам физики. Она смотрела в зал так, что мужчины забывали, как дышать.

Матильда увидела её в «Тщетной предосторожности» – и пропала. Она сидела в зрительном зале, впервые не за кулисами, а по-настоящему, среди публики, и чувствовала, как внутри что-то переворачивается. Вот как надо танцевать. Вот к чему надо стремиться. Не просто чисто, не просто правильно, а так, чтобы у зрителя останавливалось сердце.

После того спектакля она долго не могла уснуть. Лежала в своей комнате, смотрела в потолок и мысленно повторяла движения Цукки. Пыталась понять, как та делает своё знаменитое фуэте – тридцать два оборота подряд, без малейшего смещения. Это казалось невозможным. Матильда решила: она освоит этот трюк во что бы то ни стало.

Сказать всегда легче, чем сделать. Итальянская техника вращений отличалась от той, которой учили в Петербурге. Здесь требовалась другая подготовка, другая постановка корпуса, другая работа рук. Матильда мучилась месяцами. Падала и поднималась, снова падала. Иогансон качал головой, но не запрещал – он понимал, что прогресс идёт через тех, кто не боится нарушать правила.

И однажды у неё получилось.

Это случилось в репетиционном зале училища, поздно вечером, когда все уже разошлись. Она осталась одна, зажгла свечу – газовое освещение уже погасили, – и встала в пятую позицию. Толчок. Вращение. Раз, два, три... Она считала про себя, боясь сбиться. Двадцать... двадцать пять... тридцать... Тридцать два.

Она остановилась, тяжело дыша, и не поверила сама себе. Получилось. В полутьме, при свече, в пустом зале – но получилось.

Она опустилась на пол, прижала колени к груди и заплакала. Это были слёзы не радости даже – слёзы облегчения. Она знала: теперь она сможет всё.

Шёл 1889 год. До выпускного экзамена оставалось меньше года. Матильда Кшесинская ещё не знала, что на этом экзамене её увидит наследник престола. Не знала, что её жизнь вот-вот изменится навсегда. Не знала ничего – кроме того, что она будет танцевать.

Она всегда будет танцевать. Потому что это – единственное, что она умеет по-настоящему, ради чего стоит жить.

За окном падал снег, Петербург затихал, укутываясь в белую пелену. А в репетиционном зале Императорского театрального училища маленькая полька с бездонными глазами поднималась с пола, вытирала слёзы и снова вставала к станку.

Матильде Кшесинской предстояло стать великой. И она станет ею. Чего бы ей это ни стоило.

Глава вторая. Царский ужин

Мартовский снег в Петербурге особенный. Он не падает – он висит в воздухе, колючий, мелкий, почти невидимый, но пробирающий до костей. К тому дню, двадцать третьего марта 1890 года, зима уже должна была отступить, но не отступала – цеплялась за гранитные набережные, за чугунные ограды, за обледенелые ветви лип в Михайловском саду. Весна запаздывала, и город, казалось, застыл в ожидании – сам не зная чего.

Матильда проснулась затемно. В доме на Английском проспекте ещё все спали – только в кухне, где-то далеко, слышалось осторожное позвякивание посуды. Прислуга готовила утренний чай для отца, который вставал раньше всех. Матильда лежала, глядя в потолок, и прислушивалась к себе.

Страха не было. Было что-то другое – звенящее, как натянутая струна, ожидание. Она знала: сегодня всё решится. Не просто оценка за экзамен и мнение педагогов. Сегодня она выйдет на сцену перед государем. И либо он её заметит, либо...об этом лучше даже не думать.

Она села на кровати, спустила ноги на холодный пол. Пальцы привычно нащупали балетные туфли – старые, разношенные, с потёртой атласной поверхностью. Она надела их машинально, как делала каждое утро, ещё до умывания, до завтрака, до всего. Сначала – ноги в туфли. Потом – всё остальное.

К полудню она была уже в училище. Театральная улица встретила её привычной суетой: извозчики, спешащие воспитанницы в форменных пальто, бородатый швейцар, неспешно смахивающий снег с парадного крыльца. Всё как всегда. И всё – как в последний раз. Сегодняшний экзамен был выпускным. После него – либо Мариинский театр, либо неизвестность.

В репетиционном зале яблоку негде было упасть. Выпускницы разминались у станков, нервно поправляли волосы, шептались, бросали друг на друга быстрые, оценивающие взгляды. Матильда встала к своему станку – тому самому, крайнему у окна, который она занимала последние три года. Привычным движением положила руку на отполированное дерево, сделала первое плие.

Тело слушалось идеально. Так бывает редко – когда всё сходится, когда мышцы тёплые и послушные, суставы работают без малейшего хруста и равновесие держится само собой. Она чувствовала: сегодня её день.

К вечеру в училищном зале, где обычно проходили экзамены, зажгли газовые рожки. Свет их был неровным, чуть дрожащим, но создавал ту особую, таинственную атмосферу, которая отличает театр от любого другого места на земле. Кресла для почётных гостей выстроились полукругом. В центре – три кресла с высокими спинками, обитые тёмно-красным бархатом. Для государя, государыни и наследника.

Матильда видела, как они вошли.

Александр III шёл первым – огромный, грузный, в мундире, который, казалось, с трудом сдерживал его мощную фигуру. Он двигался неспешно, с тем особым достоинством, которое даётся только тем, кто привык, что мир ждёт их каждого шага. За ним шла императрица Мария Фёдоровна, маленькая, изящная, с живыми, внимательными глазами. Она чуть улыбалась – не заученной придворной улыбкой, а по-настоящему, словно предвкушала удовольствие от предстоящего зрелища.

И наконец – он.

Наследник. Цесаревич Николай Александрович.

Матильда видела его раньше, издалека, на парадных спектаклях в Мариинском. Но тогда она была просто одной из многих, затерянной в кордебалете, и не смела поднять глаз. Теперь же, стоя за кулисы в ожидании своего выхода, она могла рассмотреть его.

Он был невысок – ниже отца почти на голову. Стройный, даже хрупкий на фоне могучего государя. Светлые волосы аккуратно зачёсаны, небольшая бородка, ещё по-юношески редкая. Но главным были его глаза. Большие, серо-голубые, с тем выражением, которое Матильда не сразу смогла определить. Позже она поймёт: это была застенчивость. Почти болезненная, невероятная для человека, которому суждено повелевать шестой частью суши.

Он сел в кресло, чуть отодвинувшись в тень, словно хотел стать незаметным. Его пальцы нервно теребили край перчатки. Матильда заметила это движение – и вдруг почувствовала странную, неожиданную нежность. Он боялся. Так же, как она, а может быть, даже больше.

Экзамен начался.

Воспитанницы выходили одна за другой. Кто-то танцевал чисто, но холодно, другие путали движения и краснели до корней волос. Кто-то, напротив, держался уверенно и даже дерзко. Матильда следила за ними краем глаза, но мысли её были уже там – на сцене, в том моменте, когда объявят её имя.

И вот объявили.

– Воспитанница Кшесинская. Па-де-де из балета «Тщетная предосторожность».

Она вышла на середину зала. Остановилась. Подняла голову. Встретилась взглядом с государем – и обмерла.

Александр III смотрел на неё в упор. Не как на воспитанницу, на девочку, не как на одну из многих. Он смотрел оценивающе, тяжело, словно взвешивал на невидимых весах. Матильда почувствовала, как внутри всё сжимается в ледяной ком. Но тут же, почти инстинктивно, она сделала то, чему её учили годами: выпрямила спину, развернула плечи, подняла подбородок. И улыбнулась, не заискивающе, не подобострастно – а так, как улыбается артистка, знающая себе цену.

Государь чуть заметно кивнул. Не ей – скорее, собственным мыслям.

Зазвучала музыка.

Она танцевала так, как не танцевала никогда прежде. Всё, что копилось годами – часы у станка, боль в стопах, бессонные ночи, зависть товарок, строгость педагогов, – всё выплеснулось в эти несколько минут. Она не думала о технике – техника стала частью её самой. Она просто жила в музыке, дышала ею, растворялась в ней без остатка.

Когда она закончила, в зале на мгновение повисла тишина. А потом – аплодисменты. Не вежливые и дежурные, а настоящие, горячие. Государь хлопал первым – и хлопал громко, от души, не сдерживаясь. Императрица улыбалась и что-то говорила ему, наклонившись к уху. Наследник... смотрел на неё, и в его глазах она прочитала то, от чего замерло сердце.

Восхищение. Неподдельное, мальчишеское, совершенно неприкрытое.

После официальной части был ужин. Дирекция училища накрыла столы в соседнем зале – скромно, но достойно. Выпускницы, ещё раскрасневшиеся после выступлений, чинно сидели вдоль стен, не смея притронуться к угощению раньше высочайших гостей.

Матильда стояла у окна, пытаясь отдышаться. Сердце всё ещё колотилось как бешеное, хотя после выступления прошло уже полчаса. Она смотрела на падающий за стеклом снег и думала о том, что сейчас произойдёт самое страшное – её представят государю. Этого требовал этикет: лучшие выпускницы должны были подойти к императорской семье и получить несколько слов высочайшего одобрения.

Она ждала и дождалась.

– Кшесинская!

Голос директора училища прозвучал неожиданно громко. Матильда вздрогнула, обернулась и увидела, что государь уже идёт к ней. Сам, без свиты, без церемоний – просто идёт через зал, и все расступаются перед ним, как вода перед носом корабля.

Она присела в реверансе, чувствуя, как дрожат колени.

– Встаньте, мадемуазель.

Голос у него был низкий, рокочущий, с лёгкой хрипотцой. Совсем не такой, каким она его представляла.

Она выпрямилась и подняла глаза. Государь смотрел на неё сверху вниз – он был огромен, – но во взгляде его не было ни снисходительности, ни холодности. Скорее, что-то отеческое, почти тёплое.

– Вы танцевали прекрасно, – сказал он. – Я вижу в вас будущую славу нашего балета.

– Благодарю, Ваше Императорское Величество, – прошептала она. Голос предательски дрогнул.

Государь чуть усмехнулся в усы – кажется, её волнение его забавляло. Потом повернулся, сделал знак рукой, и из-за его спины, словно по волшебству, возник наследник.

– Позвольте представить вам моего сына, – сказал Александр III. – Николай Александрович. Он тоже ваш поклонник.

Матильда перевела взгляд на цесаревича. Он стоял перед ней – смущённый, розовеющий, не знающий, куда деть руки. Она вдруг поняла, что он боится её едва ли не больше, чем она – его отца. Это было так неожиданно, так по-человечески трогательно, что её собственный страх отступил.

– Я счастлив познакомиться с вами, – проговорил Николай. Голос у него был тихий, мягкий, с едва заметной картавинкой.

– И я, Ваше Императорское Высочество, – ответила она и, сама не зная почему, улыбнулась. Не дежурной и заученной улыбкой – а просто улыбнулась, как улыбаются знакомому, с которым вдруг встретились в неожиданном месте.

Государь, наблюдавший за ними, снова усмехнулся. Потом повернулся к сыну и сказал – громко, так, что слышали все вокруг:

– Смотри, Ники, не будь слишком скучен.

И, не дожидаясь ответа, отошёл к другим воспитанницам.

Они остались вдвоём. Стояли и молчали, не зная, что говорить. Вокруг шумел зал, звенели бокалы, звучали голоса – но для них обоих всё это вдруг отодвинулось куда-то далеко, словно между ними и остальным миром опустилась невидимая завеса.

– Вы правда очень хорошо танцевали, – сказал он наконец. – Я никогда не видел ничего подобного.

– Вы слишком добры, Ваше Высочество.

– Нет, – он покачал головой, и в этом жесте было что-то очень серьёзное, почти упрямое. – Я говорю то, что думаю. Я не умею льстить и отец говорит, это мой недостаток.

Она невольно рассмеялась – и тут же испугалась, что смех прозвучал неуместно. Но он, кажется, не обиделся. Напротив – улыбнулся в ответ, и улыбка эта совершенно преобразила его лицо. Из застенчивого, скованного юноши он вдруг стал почти красивым.

– Вы будете танцевать в Мариинском? – спросил он.

– Если меня примут.

– Примут, – сказал он с уверенностью, которая её поразила. – Я в этом не сомневаюсь.

Они проговорили ещё несколько минут. О чём – потом она не могла вспомнить, как ни силилась. О погоде, Петербурге, о том, что весна в этом году запаздывает. Пустые, ничего не значащие слова, но за ними стояло другое – то, что не выразишь вслух. Ощущение, что между ними протянулась нить. Тонкая, почти невидимая, но уже существующая.

Когда императорская семья покидала зал, наследник на мгновение задержался в дверях. Обернулся. Нашёл её глазами в толпе воспитанниц. И чуть заметно кивнул – не как цесаревич и будущий император, а как человек, который прощается со своей знакомой и надеется на новую встречу.

Матильда стояла, не в силах пошевелиться. Внутри всё звенело. Она не знала, что будет дальше. Не знала, увидит ли его снова. Но одно знала точно: этот вечер изменил всё.

За окнами падал снег, мартовский и колючий. Он шёл и шёл, укрывая Петербург белым саваном, и казалось, что зима никогда не кончится, но в воздухе уже пахло весной. Тонко, едва уловимо – но пахло.

Глава третья. Красное Село

Она ждала.

Это было новое, непривычное состояние. Раньше её жизнь подчинялась простому и ясному ритму: репетиция, урок, спектакль, сон. День за днём, месяц за месяцем – бесконечная, но такая родная карусель. Теперь же между привычными точками расписания возникло нечто третье – ожидание. Оно заполняло пустоты, просачивалось в сны, заставляло вздрагивать от каждого стука входной двери.

После выпускного экзамена прошло три недели. Три бесконечно долгих недели, в течение которых Матильда успела сто раз передумать всё, что можно передумать. Он не придёт, забыл её. Он просто выполнил волю отца, подошёл, сказал несколько вежливых слов – и тут же выбросил из головы. Кто она такая? Балерина. Одна из многих. А он – наследник престола, будущий император, человек, за которого борются лучшие невесты Европы.

Она убеждала себя в этом днём. А ночью лежала без сна и вспоминала его глаза. То, как он смотрел на неё – не на балерину, выпускницу и дочь Феликса Кшесинского, а просто на неё.

В середине апреля пришло известие, которое заставило сердце биться чаще. Её, вчерашнюю выпускницу, включили в труппу летнего Красносельского театра. Это была большая честь – обычно молодых артисток не сразу допускали до выступлений перед двором и гвардией. Матильда понимала: без чьего-то покровительства здесь не обошлось. Но чьего? Отца? Дирекции? Или...

Она запретила себе думать об этом. Просто собрала вещи и в конце мая отправилась в Красное Село.

Это место ничем не походило на Петербург. Вместо гранитных набережных – пыльные просёлочные дороги. Вместо величественных дворцов – деревянные домики с мезонинами, увитые плющом и диким виноградом. Вместо чопорной светской публики – молодые офицеры в белых кителях, громко смеющиеся, пахнущие конским потом и дорогим одеколоном. Здесь дышалось легче. Здесь всё было проще, свободнее, живее.

Матильда поселилась в маленьком флигеле, который снимала вместе с двумя другими артистками – Ольгой Преображенской и Верой Трефиловой. Обе были старше её, опытнее, но держались приветливо, без зависти. По вечерам они сидели на крошечной веранде, пили чай с малиновым вареньем и смотрели, как солнце медленно опускается за верхушки сосен. Разговоры текли неспешно – о балете, о нарядах, о том, кто из офицеров на кого посмотрел после вчерашнего спектакля.

Он появился в середине июня.

Матильда увидела его издалека – на главной улице, у офицерского собрания. Он стоял в группе гусар, что-то говорил, жестикулировал, и вид у него был совершенно иной, чем в Петербурге. Не скованный, зажатый и прячущий глаза. Здесь, среди своих, вдали от дворцового этикета, он казался старше, увереннее и мужественнее. Гусарский мундир сидел на нём безупречно – или это просто ей так казалось.

Она хотела пройти мимо, сделав вид, что не заметила. Так требовали приличия. Балерина не должна первой заговаривать с цесаревичем. Но он заметил её сам.

– Мадемуазель Кшесинская!

Он окликнул её так громко и так радостно, что несколько офицеров обернулись. Матильда остановилась, чувствуя, как кровь приливает к щекам. Он уже шёл к ней – быстрым, почти мальчишеским шагом, забыв о свите, этикете, забыв обо всём на свете.

– Какая неожиданная встреча! – он улыбался, и улыбка эта была совсем не такой, как тогда, на экзамене. Она была такой открытой, счастливой и настоящей.

– Ваше Императорское Высочество, – она присела в реверансе, стараясь, чтобы голос не дрожал.

– Бросьте, – он махнул рукой. – Это не двор, здесь можно без церемоний. Вы давно в Красном?

– С конца мая. Я танцую в летнем театре.

– Я знаю, – сказал он просто. – Я видел афишу.

Она не нашлась что ответить. Он видел афишу и знал, что она здесь. Он, наследник престола, обратил внимание на строчку мелким шрифтом в театральной программе.

– Вы сегодня танцуете? – спросил он.

– Да. «Тщетную предосторожность».

– Я приду.

Он сказал это так, словно речь шла о чём-то само собой разумеющемся. Слово и быть не могло иначе. Потом кивнул, улыбнулся ещё раз и вернулся к офицерам.

Матильда стояла посреди пыльной улицы и чувствовала, как внутри что-то распускается, словно тугой бутон, долго ждавший тепла.

Вечером она танцевала для него.

Она знала, что он в зале. Знала, ещё не выйдя на сцену – почувствовала кожей, затылком, тем особым чутьём, которое развивается у артистов, привыкших угадывать настроение публики. И когда она вышла в свет рамп, то сразу нашла его глазами. Он сидел в первом ряду, чуть левее центра, и смотрел на неё так, словно в зале больше никого не было.

Она танцевала иначе, чем обычно. Не просто чисто и технично – а с тем особым внутренним огнём, который нельзя сыграть или изобразить. Он либо есть, либо нет. В тот вечер он был. Она чувствовала, как каждое движение наполняется смыслом, как музыка перестаёт быть просто набором нот и становится продолжением её самой. Она танцевала для него одного – и весь зал, все эти офицеры, дамы, театральные критики вдруг перестали существовать.

После спектакля он пришёл за кулисы.

Это было нарушением всех мыслимых приличий. Цесаревич не должен был появляться в гримёрке балерины. Это вызывало толки, пересуды и сплетни. Но он, кажется, не думал об этом. Или думал, но решил, что оно того стоит.

Он вошёл, когда она ещё не успела снять костюм – стояла перед зеркалом, вынимала шпильки из волос. В отражении она увидела, как открывается дверь, и замерла. Он стоял на пороге с букетом белых роз – огромным, нелепым, явно купленным в последний момент у уличной цветочницы.

– Я хотел поблагодарить вас, – сказал он. Голос его звучал глухо, словно он сам не до конца верил в то, что делает. – Это было... Я не знаю, как сказать. Я никогда не видел ничего подобного.

Она медленно повернулась. Посмотрела на него – на этого невысокого, стройного юношу с растерянным лицом и букетом, который он не знал, куда деть. И вдруг почувствовала, как уходит напряжение, державшее её в тисках последние недели. Он был здесь, он пришёл и всё остальное не имело значения.

– Спасибо, – сказала она тихо. – Вы очень добры.

Он шагнул вперёд, протянул ей букет. Их пальцы соприкоснулись – всего на мгновение, но этого мгновения хватило, чтобы по телу пробежала дрожь. Он тоже её почувствовал – она увидела это по тому, как дрогнули его ресницы, как чуть расширились зрачки.

– Можно мне... – он запнулся. – Можно мне иногда навещать вас? Здесь, в Красном. Только если вы не против.

– Я не против, – ответила она. И улыбнулась.

С этого дня началось их лето.

Они встречались почти каждый вечер. Иногда – после спектаклей, в маленькой гостиной офицерского собрания, где можно было укрыться от посторонних глаз. Чаще – на прогулках, в тенистых аллеях красносельского парка, где старые липы смыкали кроны над головой, создавая зелёный, пронизанный солнцем тоннель. Они гуляли до темноты, говорили обо всём и ни о чём, смеялись, молчали – и молчание это было красноречивее любых слов.

Она рассказывала ему о балете. О том, как в детстве часами стояла у станка, пока ноги не начинали гудеть от боли. О том, как завидовала итальянкам, которые умели делать тридцать два фуэте, и как поклялась себе, что непременно освоит этот трюк. О том, что мечтает стать прима-балериной – не ради славы и денег, а ради того, чтобы выходить на сцену и чувствовать, что весь зал, все эти люди, затаив дыхание, следят за каждым твоим движением.

Он слушал её с тем же вниманием, с каким она слушала его. И в эти минуты они были равны – не наследник и балерина, а просто два человека, нашедшие друг друга в огромном, суетном мире.

Однажды они попали под дождь.

Это случилось в середине июля. Они гуляли в парке, когда небо вдруг потемнело, и первые тяжёлые капли упали на пыльную дорожку. Через минуту хлынул ливень – настоящий летний ливень, шумный, тёплый, пахнущий свежестью и мокрой зеленью.

Они побежали – она первая, он за ней, держа её за руку. Укрылись под кроной старого дуба, но ветви не спасали: вода лилась ручьями, пробиваясь сквозь листву. Матильда стояла, прижавшись спиной к шершавому стволу, и смеялась. Волосы её намокли, платье прилипло к телу, но ей было всё равно. Она чувствовала себя живой – по-настоящему живой, каждой своей клеточкой.

Он смотрел на неё. Дождь стекал по его лицу, по гусарским усам, по подбородку. Глаза его были совсем близко – серо-голубые, с золотистыми искорками, которых она раньше не замечала.

– Маля, – сказал он вдруг. Впервые – не «мадемуазель Кшесинская», не «вы». Просто Маля. Так, как звали её дома. – Можно мне вас так называть?

Она кивнула, не в силах говорить.

– А вы... ты... зови меня Ники.

Он наклонился и поцеловал её.

Это был не первый поцелуй в её жизни – были и раньше, невинные, ученические, за кулисами, с мальчиками из кордебалета. Но этот – совсем другой. В нём была нежность, и робость, и что-то ещё, чему она не знала названия. Он целовал её так, словно боялся спугнуть, словно она была хрупкой драгоценностью, которую страшно уронить.

Дождь шумел вокруг, скрывая их от всего мира. И в этот момент не было ни цесаревича, ни балерины. Были только Маля и Ники. Двое молодых людей, впервые по-настоящему узнавших, что такое любовь.

Лето кончилось внезапно.

В конце августа в Красное Село пришло известие: императорская семья возвращается в Петербург. Сезон окончен, пора прощаться.

В последний вечер они встретились в том же парке, под тем же дубом. Он был молчалив, задумчив, и Матильда чувствовала: что-то изменилось. Не между ними – между ними как раз всё было по-прежнему, трепетно и светло. Изменилось что-то в нём самом. Словно он уже начал отдаляться, возвращаться в тот мир, из которого пришёл – мир долга, этикета, обязательств.

– Мы увидимся в Петербурге? – спросила она.

– Конечно, – ответил он, но в голосе его не было уверенности. – Я найду способ.

Он взял её руки, поднёс к губам, поцеловал сначала одну, потом другую. Затем посмотрел в глаза – долгим, внимательным взглядом, словно пытался запомнить каждую чётточку её лица.

– Я никогда не забуду это лето, – сказал он. – Никогда.

Она хотела ответить, но слёзы подступили к горлу, и она только кивнула.

Он ушёл. Его фигура растворилась в сумерках, и только звук шагов ещё некоторое время доносился до неё – всё тише, тише, пока не стих совсем.

Матильда стояла под дубом и смотрела в темноту. Она не знала, что будет дальше. Не знала, сдержит ли он слово, суждено ли им встретиться снова так, как встречались этим летом – свободно, без оглядки на мир.

Но одно она знала точно. Это лето изменило её навсегда. И что бы ни случилось потом – у неё останется память о нём. О дубе, под которым они укрылись от дождя. О его глазах, когда он впервые назвал её Малей. О первом поцелуе, пахнущем летней грозой.

Она повернулась и медленно пошла к дому. Над Красным Селом сгущалась ночь. Где-то вдалеке играл военный оркестр – прощальный вальс, последний в этом сезоне. Звуки его таяли в воздухе, и казалось, что вместе с ними тает и уходит что-то очень важное.

Но она не плакала. Она улыбалась.

Потому что знала: это только начало.

Глава четвёртая. Английский проспект

Осень в Петербурге начинается незаметно. Сначала просто меняется свет – он становится мягче, золотистее, словно разбавленный мёдом. Потом в воздухе появляется особый запах – смесь сырости, опавшей листвы и далёкого дыма из печных труб. И только потом, в конце сентября, ударяют первые заморозки, и город окончательно прощается с летом.

Матильда вернулась из Красного Села другой. Она и сама не могла бы объяснить, что именно изменилось – внешне всё осталось прежним. Та же квартира на Английском проспекте, те же репетиции в Мариинском, те же лица коллег и педагогов. Но внутри что-то сдвинулось, перестроилось, зазвучало иначе. Она носила в себе тайну – и тайна эта грела её изнутри, как плоток горячего чая в промозглый день.

Первые дни после возвращения были мучительны. Она просыпалась с мыслью о нём, засыпала с той же мыслью, а между пробуждением и сном существовала в каком-то полузабытьи, механически выполняя привычные действия. Репетиции, упражнения у станка, примерки костюмов – всё это проходило словно мимо неё, не задевая сознания. Она была там, в Красном Селе, под старым дубом, в его объятиях.

Он обещал, что найдёт способ увидеться. Обещал, что красносельское лето – не конец, а только начало. Но дни шли, а от него не было вестей. Матильда начала сомневаться. Может быть, она всё придумала? Может быть, для него это было лишь мимолётное увлечение, летний роман, о котором приятно вспомнить зимой у камина, но не более?

Она гнала эти мысли, но они возвращались – назойливые, как осенние мухи. Особенно тяжело становилось по вечерам, когда она оставалась одна в своей комнате. Она садилась у окна, смотрела на тёмную улицу, на редких прохожих, на тусклые огни фонарей – и ждала. Ждала неизвестно чего. Чуда.

Чудо произошло через неделю.

Был поздний вечер, около десяти часов. Матильда уже собиралась ложиться спать – завтра предстояла ранняя репетиция, Петипа готовил новую постановку и требовал от всех полной самоотдачи. Она сидела перед зеркалом, расчёсывала волосы, когда услышала стук. Не в парадную дверь – туда он не мог прийти, слишком много глаз, слишком много любопытных соседей, – а в чёрный ход, которым пользовалась только прислуга.

Сердце ёкнуло. Она накинула халат, сунула ноги в домашние туфли и поспешила в прихожую. Отворила дверь – и замерла.

На пороге стоял Ники.

В штатском платье – простом, почти мещанском, – в надвинутой на глаза шляпе, с поднятым воротником пальто. Он был похож на студента, тайком пробравшегося на свидание, или на молодого чиновника, возвращающегося со службы. Никто бы не узнал в этом скромно одетом юноше наследника престола.

В руках он держал небольшой свёрток, перевязанный голубой лентой.

– Я не мог больше ждать, – сказал он вместо приветствия. Голос его звучал виновато и радостно одновременно. – Прости, что так поздно. Я боялся, что меня узнают. Пришлось дожидаться темноты, а потом ещё петлять по дворам, чтобы оторваться от возможной слежки.

Она посторонилась, пропуская его внутрь. Он вошёл быстро, почти крадучись, и только оказавшись в маленькой прихожей, выдохнул. Волосы его растрепались, на щеках горел румянец – то ли от быстрой ходьбы, то ли от волнения.

Она стояла и смотрела на него, не в силах вымолвить ни слова. Он был здесь. Настоящий. Не сон, фантазия, или воспоминание. Живой, тёплый, с чуть влажными от осенней мороси волосами и знакомым запахом – смесью табака, одеколona и чего-то ещё, неуловимо его, родного.

– Вот, – он протянул ей свёрток. – Это тебе.

Она развернула бумагу дрожащими пальцами. Внутри оказался футляр, а в нём – браслет. Золотой, изящной работы, с некрупными, но удивительно чистыми сапфирами. Камни мерцали в свете свечи глубокой, насыщенной синевой, напоминавшей цвет вечернего неба над Красным Селом в тот самый момент, когда они стояли под дубом и он впервые назвал её Малей.

– Сапфиры, – прошептала она. – Они такие же небесно-голубые, как твои глаза.

Он смутился, отвёл взгляд. Его щёки порозовели ещё больше.

– Я хотел, чтобы у тебя было что-то на память, – сказал он. – О лете и обо мне. Чтобы ты смотрела на этот браслет и знала: я всегда думаю о тебе.

Она надела браслет. Металл был холодным, но ей казалось, что он жжёт запястье и так сильно билось сердце. Она подняла руку, посмотрела, как сапфиры переливаются в дрожащем свете свечей.

– Я буду носить его не снимая, – сказала она.

Он улыбнулся – той самой застенчивой, чуть растерянной улыбкой, которую она так полюбила.

– Можно мне... пройти? – спросил он. – Я очень замёрз.

Она спохватилась, провела его в гостиную. Комнатка была небольшая, но уютная: диван, обитый тёмно-зелёным плюшем, круглый столик у окна, книжный шкаф, в котором теснились томики французских романов и балетные партитуры, и старая фисгармония в углу, доставшаяся от матери. На стенах – несколько гравюр с балетными сценами и фотография отца в костюме Хана из «Конька-Горбунка».

Он огляделся с любопытством. Он никогда не был здесь раньше – в Красном Селе они встречались на нейтральной территории, в парке или в офицерском собрании. Теперь он впервые оказался в её мире, среди её вещей и запахов.

– У тебя очень мило, – сказал он. – По-домашнему.

– Это квартира родителей, – пояснила она. – Я живу с ними. Отец, мать, сестра Юлия и брат Иосиф, когда не в разъездах. У каждого своя комната, но вечерами мы собираемся здесь, в гостиной. Отец играет на фисгармонии, мать вяжет, мы с Юлией читаем или обсуждаем театральные новости.

Он слушал её с большим интересом. Ему, выросшему в огромных дворцах, где члены семьи могли не видаться целыми днями, такая простая, тесная домашняя жизнь казалась чем-то удивительным и притягательным.

– А где они сейчас? – спросил он.

– Отец в театре, у него поздняя репетиция. Мать ушла к соседке. Юлия уехала на гастроли в Москву, мы здесь одни.

Он кивнул. В его глазах она прочитала облегчение. Ему, привыкшему к постоянному надзору, к тому, что каждый его шаг известен, было невыносимо находиться под чужими взглядами. Здесь, в этой маленькой гостиной, он мог наконец расслабиться, перестать быть наследником, стать просто Ники.

С этого вечера началась их петербургская жизнь.

Они встречались урывками, украдкой, в те редкие часы, когда цесаревич мог вырваться из-под надзора. Он приезжал поздно вечером, часто уже затемно, пробираясь чёрным ходом, и оставался до рассвета. Иногда – всего на полчаса, только чтобы увидеть её, взять за руку, сказать несколько слов. Иногда – на несколько часов, и тогда они сидели в маленькой гостиной при свечах, пили чай из старого самовара, разговаривали, молчали, и молчание это было драгоценнее любых речей.

Она узнавала его всё лучше. За застенчивостью и внешней мягкостью скрывался человек с твёрдым характером, с обострённым чувством долга, с подлинной, глубокой верой. Он мог часами рассказывать о православных святынях, о монастырях, которые мечтал посетить,

о старцах, к которым надеялся попасть на исповедь. Он говорил об этом с тем особым, тихим воодушевлением, которое свойственно людям, для которых вера – не обряд, а сама жизнь.

Однажды он рассказал ей о своей поездке в Саровскую пустынь. Как добирался туда по плохой дороге, трясясь в экипаже, как ночевал в простой крестьянской избе, как стоял на многочасовой службе и чувствовал, что именно здесь, среди простых богомольцев, а не в придворной церкви с её чинным благолепием, он по-настоящему близок к Богу.

– Ты знаешь, – сказал он задумчиво, глядя на огонь свечи, – иногда мне кажется, что я рождён не для престола. Что моё настоящее призвание – монастырь, молитва и уединение. Я был бы счастлив быть простым иноком. Но судьба распорядилась иначе.

Она слушала и думала: как странно. Человек, которому суждено повелевать шестой частью суши, мечтает о келье и чётках. Человек, которого окружают толпы царедворцев, ищет уединения. Может быть, в этом и есть его трагедия – он не создан для власти, но вынужден нести её бремя.

Матильда, католичка по рождению и воспитанию, слушала его рассказы о православии с уважением, но без полного понимания. Её вера была другой – более внешней, более обрядовой. Она ходила в костёл по воскресеньям, исповедовалась, причащалась – но Бог не занимал в её душе того места, которое занимал Он. Ники. Её Ники.

Иногда он рассказывал о своём детстве. О том, как рос в Гатчинском дворце, под неусыпным надзором родителей и воспитателей. Как его, маленького, учили ездить верхом, фехтовать, говорить на иностранных языках. Как он боялся отца – не потому, что тот был жесток, а потому, что был огромен и грозен, как сама империя. И как любил мать – императрицу Марию Фёдоровну, маленькую, изящную, с живыми глазами и удивительным даром создавать вокруг себя атмосферу тепла и уюта.

– Она знает обо мне? – спросила однажды Матильда.

Он помолчал.

– Догадывается. Матери всегда всё знают, но она не вмешивается. Она понимает, что мне нужно... что-то своё. Что-то, что не связано с долгом и престолом.

Матильда кивнула. Она чувствовала благодарность к этой женщине, которую никогда не видела вблизи. За то, что та не осуждает, не препятствует, не пытается разлучить их. За то, что даёт сыну хотя бы немного счастья перед тем, как он навсегда окажется в золотой клетке династического брака.

Однажды он пришёл особенно расстроенный. Она сразу поняла: что-то случилось. Он долго молчал, сидел, глядя в одну точку, вертел в пальцах пустую чашку. Потом заговорил – глухо, с трудом подбирая слова.

– Отец говорил со мной. О будущем. О том, что мне пора думать о женитьбе.

У Матильды похолодело внутри. Она знала, что этот разговор рано или поздно состоится. Знала, что наследник престола не может оставаться холостым вечно. Но одно дело – знать умом, и совсем другое – услышать это от него, здесь, в их маленькой гостиной, где всё дышало их общим счастьем.

– И что ты ответил? – спросила она, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

– Что я не готов, что мне нужно время.

Он поднял на неё глаза, и в них было столько боли, что у неё перехватило дыхание.

– Маля, я не хочу жениться. Не хочу ни на ком, кроме...

Он осёкся, не договорил, но она поняла.

– Не говори этого, – прошептала она. – Не надо. Мы оба знаем, что это невозможно. Ты – наследник престола, а я простая балерина. Между нами пропасть, которую не перейти. Мы с самого начала знали, что когда-нибудь это кончится.

– Но я не хочу, чтобы кончалось! – в его голосе прозвучало почти отчаяние. – Я хочу, чтобы ты была со мной. Всегда. Разве это так много?

Она встала, подошла к нему, обняла. Он уткнулся лицом в её плечо и замер. Она чувствовала, как дрожат его плечи, как часто бьётся сердце. Наследник престола плакал – тихо, беззвучно, как плачут мужчины, которых с детства учили, что слёзы – это слабость.

– Тише, – шептала она, глядя его по волосам. – Тише, мой хороший, я здесь, с тобой.

Они просидели так долго – может быть, час, может быть, больше. За окнами стемнело, в комнате стало совсем темно, только свеча на столе отбрасывала дрожащий круг света. Наконец он выпрямился, вытер глаза.

– Прости, – сказал он. – Я не должен был...

– Не извиняйся, – перебила она. – Ты имеешь право на чувства. Ты живой человек, а не машина для управления империей.

Он посмотрел на неё с благодарностью. Потом взял её руки, поднёс к губам.

– Я люблю тебя, – сказал он. – И буду любить всегда. Что бы ни случилось.

– И я тебя, – ответила она. – Всегда.

В ту ночь они не спали до рассвета. Говорили – впервые по-настоящему, без недомолвок. О том, что их ждёт. О том, что разлука неизбежна. О том, что долг перед династией и империей сильнее любых личных чувств. Он говорил, а она слушала, и с каждым его словом в сердце её росла пустота.

Он рассказал ей о принцессе Алисе. Впервые назвал её имя – то самое, о котором Матильда уже слышала из светских сплетен, но не решалась спросить.

– Она хорошая, – говорил он, глядя в сторону. – Добрая, очень набожная. Она мне нравится, правда, но это совсем другое. Не то, что с тобой. С тобой моя жизнь. С ней просто долг.

Матильда слушала и думала: как странно устроен мир. Человек, который любит её, женится на другой. И эта другая, наверное, тоже любит его – и тоже будет страдать, зная, что его сердце принадлежит не ей. Все они – заложники обстоятельств, пешки в большой игре, которую ведут династические интересы и государственная необходимость.

– Я обещаю тебе, – сказал он под утро, уже стоя в дверях, готовый уйти в серый петербургский рассвет. – Я обещаю, что никогда не брошу тебя. Что бы ни случилось, я всегда буду рядом. Ты всегда можешь на меня рассчитывать.

Она кивнула. Он поцеловал её – долгим, горьким поцелуем, в котором было больше прощания, чем встречи и ушёл.

Она стояла в прихожей и смотрела на закрытую дверь. Слёз не было. Была только усталость – и странное, почти неестественное спокойствие. Она знала: рано или поздно это случится. Знала с самого начала. И всё же надеялась на чудо.

Чуда не произошло.

В начале 1891 года в петербургских газетах появились первые сообщения о возможной помолвке цесаревича. Называли имя: принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская. Матильда читала эти строки, и буквы расплывались перед глазами. Алиса. Та самая, о которой говорили уже несколько лет. Внучка королевы Виктории, младшая дочь великого герцога Гессенского. Юная, красивая, благочестивая.

Он никогда не говорил о ней подробно. Только в ту ночь, перед рассветом, произнёс её имя. И Матильда не спрашивала – боялась.

Теперь страх стал реальностью.

В феврале он пришёл проститься. Это был последний раз, когда они виделись наедине в её квартире. Он был бледен, под глазами залегли тени. Видно было, что ночи перед этим разговором дались ему нелегко.

– Я должен ехать, – сказал он. – Отец отправляет меня в путешествие. На Восток. Почти на год. Я уезжаю через две недели.

Она молчала. Слова были не нужны.

– Когда я вернусь, – продолжал он, – всё будет решено. Я должен буду... Ты понимаешь.

Она кивнула.

– Я не хочу, чтобы ты думала, что я забыл тебя, – он взял её руки, сжал их. – Этого никогда не будет. Ты – часть моей жизни. Самая светлая часть. И я...

Он замолчал. В горле у него стоял ком. Матильда смотрела на него и видела не наследника престола, не будущего императора, а просто человека, раздавленного обстоятельствами, которые он не в силах изменить.

– Поезжай, – сказала она тихо. – Я буду ждать. Я всегда буду ждать.

Он поцеловал её руки – сначала правую, потом левую. Потом поднялся, пошёл к двери. На пороге он обернулся.

– Я напишу, обещаю. Буду писать из каждого порта, из каждого города. Ты будешь знать, где я и что со мной.

Дверь закрылась. В квартире стало тихо.

Матильда подошла к окну. За стеклом падал снег – крупный, пушистый, совсем как в тот день, когда они познакомились. Она смотрела, как снежинки ложатся на карниз, подоконник, голые ветви деревьев, и думала о том, что одна глава её жизни закрылась.

Что будет в следующей – она не знала.

Она отошла от окна, села за свой маленький письменный стол, достала лист бумаги. Хотела написать ему – не письмо, которое можно отправить, а просто слова, которые рвались наружу. Но перо зависло над бумагой, и ни одной строчки не родилось.

Тогда она просто положила перо, задула свечу и легла в постель. Сон пришёл не сразу. Она лежала в темноте, прислушиваясь к звукам засыпающего города, и думала о том, что жизнь продолжается. Завтра будет репетиция. Послезавтра – спектакль. У неё есть балет, он не предаст. Балет останется с ней навсегда.

Она закрыла глаза. И перед внутренним взором встало его лицо – такое, каким она увидела его в первый раз: застенчивое, юное, с добрыми глазами.

Она улыбнулась в темноте.

Что бы ни случилось дальше – у неё останется это. Память о первой любви. О лете в Красном Селе, дубе, под которым они укрылись от дождя. О его голосе, когда он впервые назвал её Малей и долгих вечерах в этой маленькой гостиной, когда они сидели вдвоём при свечах и говорили обо всём на свете – или молчали.

Этого у неё не отнимет никто.

Глава пятая. Письма

Письма приходили нечасто. Раз в месяц, иногда реже – почта из далёких стран шла особенно долго, когда корабли задерживались в портах и политические обстоятельства нарушали привычный ход вещей. Но каждое из них Матильда ждала с тем особым, щемящим чувством, какое знакомо только тем, кто любит на расстоянии.

Она знала расписание почтовых пароходов наизусть. Знала, в какие дни приходит корреспонденция из Одессы – главного порта, через который шли письма с Востока. В эти дни она просыпалась раньше обычного, с трудом дожидалась, пока почтальон поднимется по лестнице и постучит в дверь. Если письма не было – а так случалось часто, – она заставляла себя улыбнуться, поблагодарить, закрыть дверь. И только потом, оставшись одна, давала волю разочарованию.

Первое письмо пришло из Афин.

Она вскрыла конверт дрожащими руками, узнав его почерк – аккуратный, чуть детский, с ровными строчками и маленькими, тщательно выписанными буквами. Он всегда писал так, словно выводил каждое слово с особым тщанием, боясь ошибиться или быть непонятым. В детстве его заставляли переписывать письма по нескольку раз, добиваясь каллиграфической безупречности, и эта привычка осталась на всю жизнь.

Он писал о Греции – о беломраморных храмах, ослепительно сияющих под южным солнцем, лазурном море, такого цвета, какого она никогда не видела и не могла себе представить, запахе оливковых рощ, горьковатом и терпком, пропитавшем всё вокруг. О том, как стоял на Акрополе, глядя на расстилающийся внизу город, и думал о ней.

«Я смотрел на закат над Парфеноном, – писал он, – и представлял, что ты стоишь рядом. Как ты смотришь на это золотисто-розовое небо, как ветер играет твоими волосами, как ты улыбаешься своей особенной улыбкой, которую я так люблю. Мне казалось, что если я закрою глаза и очень сильно захочу, ты окажешься здесь. Но когда я открывал глаза, вокруг были только древние камни и чужие лица. И тогда мне становилось невыносимо грустно».

Она перечитывала эти строки десятки раз, пока бумага не истончилась на сгибах. Каждое слово она пропускала через сердце, смаковала, запоминала. Потом аккуратно складывала письмо, убирала в заветную шкатулку – ту самую, где уже лежала первая записка, полученная после выпускного экзамена, – и возвращалась к обычной жизни. К репетициям, спектаклям и бесконечным упражнениям у станка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.